

Одесса. Исход...

Отрывок из сборника "Бредовский поход" серии "История и память".
Издательство Российского государственного гуманитарного университета.
М., 2003.

* * *

Я слез со своей платформы с песком и огляделся. Моих попутчиков не было, они где-то затерялись в толпе. Немного подождав и не дождавшись их, я пошел по направлению к городу, следуя общему течению. Приехавшие шли группами и одиночками, кто с вещами, а кто налегке. Минут через десять меня догнал один из моих попутчиков, поручик Опэль.

— А я вас ищу, — сказал он, поправляя мешочек со сменой белья. — Белибердов нашел каких-то знакомых, к ним и пристал.

Мы пошли вместе.

— Вы Одессу знаете? — спросил через минуту Опэль.

— Нет.

— У вас есть тут знакомые, родственники?

— Нет.

— Деньги есть у вас?

— Тридцать рублей в денкинской валюте.



— Немного. Как же мы ночевать будем? И есть хочется. У меня тоже ничего нет. Только одна смена белья.

Я промолчал. Я тоже не представлял себе, где и как мы будем спать. Через несколько минут в сумерках нагнали человека, тащившего тяжелый чемодан; потом нас кто-то догнал... Так образовалась группа человек в семь. Мы шли по рельсам и через рельсы, присаживаясь иногда отдохнуть у черных от темноты станционных зданий. Сидя, мы философствовали и рассуждали о настоящих временах; никто из нас не знал, где он проведет ночь. Общее чувство бездомности объединило всю компанию, и было решено держаться пока что кучей. В полной темноте мы пришли на какую-то большую площадь и, пройдя ворота, очутились, наконец, в самой Одессе. Это была окраина, очень скудно освещенная, но все-таки освещенная. После трехчасовой ходьбы по железнодорожным путям я страшно устал и захотел пить. Попался киоск с лимонадом; искушение было велико, и я пропил весь свой капитал. После этого проснулся лютей голод. Но купить пряник или хлеба уже не было возможным. Собрали совет — что делать дальше? Порешили идти к коменданту города и получить у него ордер на номер в гостинице. Но никто не знал, где находится комендант и как до него добраться.

— Комендант живет где-нибудь в центре. Идемте туда, — предложил кто-то.

Пошли к центру. Вероятно, мы резко отличались от одесситов, потому что проходившая мимо девушка, поглядев на нас, сказала своему спутнику:

— Это беженцы, должно быть. У них такой оборванский вид.

Встреченный, к счастью, квартальный разъяснил нам, где находится комендантское правление и как к нему пройти.

— Только это далеко отсюда, — добавил он, — поезжайте лучше трамваем, который ходит по этой улице.

Мы послушались совета и стали у первой остановки.

Вдруг недалеко от нас поднялась стрельба. Стреляли где-то очень близко, но где именно — разобрать было трудно. Мне показалось, что стреляют или на ближайшем дворе, или с чердака темного неосвещенного дома. Среди винтовочных выстрелов ухо улавливало сухое отрывистое щелканье браунингов. Иногда доносилось лязганье затворов и какой-то голос, словно подававший команду. Бухнуло пять или шесть ручных гранат. Мы все, в том числе и околоточный, прижались к стене. К счастью, пули и осколки летели куда-то в другую сторону.

— Что это у вас делается? — спросил кто-то околоточного.

— А это большевизанствующие народ стращают; но, когда можно, то и подстрелят. Вся эта окраина такая.

Минут через пять-десять стрельба стихла. Вскоре подошел трамвай и забрал нас. Пассажиров внутри было много; все они с любопытством смотрели на нашу серую, грязную, небритую и нестриженую компанию. Под ярким электрическим светом мы все выглядели, как только что выпрыгнувшие из болота. Особенное внимание публики вызвали мои валенки и вообще вся моя личность. Когда, найдя место, я уселся на лавочке, мой сосед поспешно от меня отодвинулся, а сидевший напротив поспешил подобрать свои ноги в начищенных штаблетах.

Доехав до какой-то церкви, мы слезли и пошли дальше пешком. Идти пришлось по широким красивым улицам. Света было много; открытые лавки и магазины выставляли напоказ шелка, сукна, готовые костюмы, духи, драгоценности... Публика одета была элегантно. Гуляло много офицеров в чистых светлых шинелях со стеками в руках. Все кафе и рестораны были ярко освещены. Словом, по внешнему виду совсем нельзя было предположить, что где-то есть большевики, война, отступающие, голодающие, умирающие... и наша группа вносила странный диссонанс в это царство приличия и кажущегося благополучия. Среди военных было великое множество пьяных. По дороге мы зашли в несколько гостиниц справиться о комнатах. Но все было переполнено. В одной гостинице мы услышали такой рев, что лакей поспешил нас успокоить:

— Это господа офицеры полковой праздник справляют.

В другой — бродил по коридору с револьвером в руке молодой офицер с совершенно бессмысленными от алкоголя глазами. Видно, деньги были у них, и они спешили их использовать.

Наконец мы очутились у комендантского правления. Дорогу нам загордил часовой, стоявший у входа. Он не пустил нас в само здание, грубо заявив, что теперь никого нет, и никаких ордеров никому не выдают. Мы заволновались: не ночевать же нам на улице? Но в наше положение часовой входить не желал и даже отказался дать какие-либо указания. Поняв, что этого часового не прошибить никакими доводами, мы воскорбели и задумались: что же делать дальше? Выручил нас проходивший мимо комендантский адъютант; благодаря ему мы получили ордер на один номер в гостинице "Киев". Отправились туда. Сначала нас там не хотели принимать. Пошли длинные утомительные переговоры, и в конце концов нас всемером поместили в гостиничной конторе. Мы расположились в ней, как могли; кто на стуле, кто на подоконнике, а кто и просто на полу. Са-

мым старшим из нас по возрасту и по чину оказался полковник Эмм, брат видного русского журналиста. Было потом два или три чиновника из Государственной стражи, два саперных офицера, Опэль и я.

Занявши комнату, полковник заказал на всю братию самовар. За чаем мы стали отогреваться и приводить в порядок растрепанные долгим путешествием чувства и мысли. Поговоривши о том, что кому пришлось видеть и испытать, стали располагаться на ночлег. Место мне досталось хотя и не большое, но очень удобное, как раз под самым столом. Ножки его составляли естественную границу между мной и остальным живым миром. Я снял шинель, разостлал ее на полу, положил папаху под голову, шинелью же укрылся и почувствовал себя совсем недурно, вроде как бы на кровати под балдахином.

Оттого, что наши дорожные впечатления, ставшие за месяц привычными и однообразными, сразу заменились новыми, ни в чем не похожими на прежние, мне вдруг показалось, что это не я, а кто-то другой проделал все это длинное путешествие. И сознание, обеспокоенное таким раздвоением, сильно заработало над восстановлением своего единства. Отправившись от настоящего момента, как от самого достоверного, мысль понеслась по коридору прошлого, задерживаясь на отдельных этапах, в поисках моего затерявшегося "я". Мелькнуло комендантское, трамвай, путешествие через рельсы, поля, снега... Наконец где-то очень далеко одесские и неодесские впечатления скрестились в одной точке. В этой точке я увидел самого себя. Единство было восстановлено, я успокоился.

Дальше потянулись мысли житейского порядка: вставал вопрос о будущем, мучительно сознавалось безденежье; вместе с тем хотелось привести себя в человеческий вид и освободиться от грязи, насевшей за время отступления, от насекомых. С этим я и заснул.

Утром моей первой мыслью было, что я в Одессе и что мне не на что жить.

И, лежа под балдахином, я задумался: что предпринять дальше? В голове мелькали неопределенные намерения: пойти в интендантство, выпросить себе полный комплект обмундирования и обувь, затем поступить куда-нибудь на место, где платят деньги.

В первый день я никуда не пошел, а продремал все время, сидя на подоконнике. В этом большом городе у меня не было ни одной точки опоры, я никого не знал. Мои компаньоны разошлись еще с самого утра знакомиться с городом и отыскать более прочное пристанище.

Еврейчик-контрщик, занимавшийся у стола, под которым я провел ночь, видимо, проникся ко мне жалостью и в два часа дня предложил мне

обед; мы поели вместе; расспрашивать меня он не решался, но, очевидно, его очень интересовал вопрос: кто я и как дошел я до жизни такой? Я счел за лучшее оставить его в блаженном неведении.

К вечеру наша публика стала сходиться. У всех, что называется, дело было на мази: кто нашел своих знакомых, кто оставил им записочку, а кто, если и не нашел ничего, имел, по крайней мере, надежды. Даже поручику Опэлю повезло — он нашел Белибердова, приехавшего со своими знакомыми на паровозе бронированного поезда прямо в Одессу. Впечатление от города у всех было одно и то же — люди живут по-человечески, деньгой особенно не стесняются.

Позже других пришел полковник Эмм. Он привез более положительные известия, исходившие, казалось, из кругов осведомленных. Около Одессы высшее командование предпринимало грандиозные фортификационные работы. Город предполагалось обратить в неприступную крепость с суши, с моря защищаемую английским флотом. На некоторых участках, как сказали Эмму, работы уже начались; рабочие, кроме денег, получают также и пропитание. Мы слушали эти вести, и у нас не было никакого сомнения, что так и было на самом деле. Между нами даже поднялись разговоры, какой численности понадобится гарнизон и чем питать город во время осады.

Потом я обратился к Эмму с вопросом, что мне делать и каким образом привести себя в человеческий вид. Он посоветовал обратиться к коменданту, а дальше уже видно будет. На другой день рано утром я побежал к коменданту. У его канцелярии уже стоял длиннейший хвост из людей гражданского, видимо, положения. Начинаясь этот хвост у двери на третьем этаже, спускался по лестницам вниз, выходил на улицу и упирался в пятый от комендантского подъезда фонарь. Все звенья этого хвоста были сугубо мрачны и хранили молчание. Приблизившись к подъезду с грацией, которую только могли сообщить моей походке набитые соломой валенки, я спросил у большой рыжей бороды в поддевке, не читая созерцавшей какой-то многоречивый приказ властей, что это за очередь. Борода посмотрела на меня и нехотя ответила, что "тут те, которые на выезд".

Выезд меня в данную минуту не интересовал, и я зашагал наверх. Дверей было много; на всех висели предупреждения: "Вход воспрещается". Наконец нашлась дверь без этой надписи; постучав на всякий случай и не получив ответа, я шагнул за порог. В большой полутемной комнате от окна к письменному столу и обратно шагал отделенный от постороннего мира деревянным барьером комендантский адъютант с орденами во всю грудь.

Он учтиво выслушал меня и так же учтиво посоветовал обратиться в интендантские склады, находившиеся где-то в соседнем переулке. Что же касается самого комендантского правления, то, по его словам, оно действительно не было в состоянии удовлетворить моей просьбы, несмотря на его горячие симпатии к лицам, находившимся в таком, как я, положении. В благодарность я шаркнул валенками по паркету и удалился с приятным чувством, что есть еще на свете отзывчивые люди. Закрывая дверь, я прищемил полу шинели. Пришлось дверь полуоткрыть. В этот момент только что принявший меня адъютант, повернувшись спиной к двери, говорил кому-то: "Так, шантрапа какая-то..."

Интендантские склады я нашел очень быстро. Состояли они из каких-то пустырей, недоконченных сараев и сторожки. Ни людей, ни вещей не было видно. Только в сторожке я нашел очень древнего, совершенно высохшего, с прозеленью в белых волосах старца. Он объяснил мне, что точно тут раньше были склады, но во время германской войны часть их куда-то перенесли, а что осталось — было ограблено большевиками. Сторожные же обязанности старик нес уже просто по привычке.

— Деться мне некуда, из сторожки меня не гонят, вот и живу здесь... А из комендантского сюда часто приходят... Знай, шутник там завелся...

Поблагодарив древность за эти сведения, я зашагал в "Киев". От ходьбы по камням без подошв ноги сильно горели и уставали. Для отдыха я останавливался читать афишки, которыми были оклеены все заборы и стенки. Одно из объявлений, подписанное генералом Шиллингом, командующим войсками Одесского округа, помеченное вчерашним числом, задержало мое внимание. Приказ был действительно сногсшибательный: все офицеры и военные чины, находившиеся в Одессе, должны были немедленно зарегистрироваться. За неисполнение этого приказа по каким бы то ни было причинам сперва грозила конфискация имущества, а потом расстрел. Регистрации подлежали все: больные, уволенные по чистой отставке, инвалиды и даже те, кто не мог ходить без посторонней помощи.

Я пришел в гостиницу, когда наша компания была уже вся в сборе. Речь шла о регистрации. Никто ею доволен не был, для всякого она являлась только излишней потерей времени. Надо было идти, толкаться, ждать и изнывать в толпе. И все это — без малейшей пользы для самого дела, то есть для защиты города от большевиков.

На следующее утро толпа офицеров и чиновников наполнила громадный и холодный кинематограф "Арс". Большинство было одето, как в мирное время; среди светлых шинелей один я выделялся безобразным

пятном. Моя небритая и нечесаная в течение месяца фигура вызывала любопытные взгляды, а порой и осторожные брезгливые отодвигания.

В толпе говорили больше о тех, кому так или сяк удалось уехать за границу и избавиться от всяких регистраций. Этим уехавшим завидовали. Какой-то офицер с бобровым воротником рассказывал своему знакомому, что он тоже должен был получить заграничную командировку, но что этому помешал тиф.

Ждать очереди пришлось часа три. Наконец я очутился перед столиком, за которым сидел ветхий полковник с очками на круглом, как мяч, носу. Он повертел мое увольнение в отставку по болезни, но печати не поставил, а пошел совещаться с другими. Меня стали допрашивать, когда я приехал в Одессу, зачем и что я буду здесь делать. Тогда, взяв обратно свою бумажку, я подошел к другому столику. Там кавалерийский полковник, не знавший никаких сомнений, сразу бухнул печать, сделал надпись: "На регистрацию явился", подписался и крикнул: "Следующий!".

На подъезде кинематографа меня окликнул чей-то голос. Я обернулся и увидел моего давнишнего знакомого по Варшаве, где он служил чиновником в интендантстве. Не виделись мы уже больше пяти лет; пошли разговоры... Внимательно оглядев меня, но не сделав никакого замечания, он пригласил меня в кондитерскую обедать. Сопротивления ему я не оказал. Пока я ел, Мякин рассказывал о себе; самое главное было то, что в настоящее время он служил и наблюдал за погрузкой артиллерийских снарядов на пароход. Оказалось, что все артиллерийские склады было решено из Одессы отправить в Севастополь. Эта операция производилась секретным порядком, и на самый пароход, куда грузили снаряды, пропускали только должностных лиц. Но не дальше как вчера Мякин, обходя с механиком трюм, совершенно случайно в одном укромном местечке нашел адскую машину, которая должна была взорвать уже погруженные снаряды... А их было несколько сот тысяч.

От Мякина же я узнал, что в Одессе живет мой большой друг Спиридон Лохан. Служил Лохан где-то учителем и жил в Одессе вместе с женой и тещей.

На этом мы и расстались; Мякин пошел к себе, а я в свой "Киев". Оказалось, что на регистрацию ходили только один сапер, Опэль и я; остальные же пренебрегли всеми угрозами Шиллинга и в комиссию не пошли. Как мне потом сознался полковник Эмм, недалеко от нас была табачная лавочка, где за небольшую мзду ставили какие угодно штампы и делали какие угодно надписи. Мы даже сравнили печати — обе были совершенно одинаковые.

— Одесские жулики прекрасно учитывают, на что может быть спрос, — говорил Эмм. — Теперь по всему городу табачные лавочки занимаются конкуренцией с комиссиями; один шутник рассказал мне даже, что будто есть такой полковник, который по окончании работы в комиссии подписывает всякие удостоверения в лавочке.

На другой день утром совершенно неожиданно зашел ко мне Лохан. Он узнал от Мякина о моем прибытии в Одессу. Не виделись мы уже шесть лет, и наша встреча вышла самой душевной. Припомнили мы с ним нашу юность, пятые этажи, студенческие годы...

Во многом мы тогда не сходились; он был правый, я — левый. В то время правые казались мне гнездом вампиров, овладевших народным достоинством... И если я почтил своей дружбой Лохана, то вышло это как-то само собой, невольно. Будучи сам образованным человеком, он и в других ценил знание. Он был глубоко бескорыстен и пользы из своей правизны не извлекал. Стипендии он не получал, пособий от концертов ему тоже не давали. Будучи сиротой, он часто нуждался, но никогда не говорил о своей бедности, а давал уроки и этим содержал себя и свою сестру. Его слову всегда можно было верить, даже в пустяках: скажет, например, что придет в четыре часа — значит, придет. Деньги займы брать не любил, но, если когда и брал, всегда отдавал в срок. Случилось, что председатель нашего землячества проиграл в "девятый вал" всю кассу; Лохан помог ему покрыть растрату, несмотря на то, что они в политическом отношении были непримиримыми врагами. И, глядя на Лохана, я часто жалел, что он правый, а не левый.

Я рассказал ему о плене, о возвращении, о том, что было в Киеве, о порядках и нравах в Добровольческой армии. Потом Лохан стал рассказывать о себе. Дела его были тоже неважны. В начале войны с Германией из Варшавы он был переведен в Москву, затем из Москвы в Ростов, из Ростова в Тамбов и т. д. В конце концов он очутился в Одессе. С месяц тому назад его жена захворала тифом; теперь она выздоравливала и нуждалась в усиленном питании. Денег же ему не платили, и они жили продажей старых вещей. Прощаясь, Лохан предложил мне взять у него немного денег, от чего мне трудно было отказаться. И мы расстались, условившись, что я зайду к ним в один из ближайших дней.

Около полудня пришли Опэль и Белибердов; они сообщили, что один из наших ротных командиров, капитан Груздев, приехал сюда на несколько дней раньше нас и теперь служит в Комитете обороны города Одессы. Первое заседание этого комитета было назначено на сегодня, в два часа

дня, и мы решили втроем поехать на это заседание в надежде, что капитан Груздев поможет устроиться своим однополчанам. В час дня мы отправились на поиски Комитета обороны. Он помещался в Английском клубе; над его входом висел большой трехцветный флаг. Мы прошли через ряд великолепных, но пустых и холодных зал. Встречавшиеся изредка выбритые и вылощенные лакеи с удивлением смотрели на нас. Самое заседание происходило в небольшой сравнительно комнате, где мы, к нашему большому удовольствию, увидели и капитана Груздева.

Кроме него, было еще человек 30 офицеров. Они распались на две группы; одну составляли офицеры в лакированных сапогах со шпорами, в светлых шинелях, чистые, причесанные, выбритые; все они были отменно учтивы между собой, говоря, щелкали каблуками, прикладывали руку к козырьку и являли другие, не менее доказательные признаки высшей культуры. Между этими офицерами я заметил кавалеристов, которые из Белой Церкви везли на нескольких подводах фабричные пассы и разные другие вещи неведомого происхождения; судя по значительному улучшению туалета, все это было кавалеристами реализовано не без выгоды.

Другие же офицеры походили скорее на бродяг, только что явившихся из глухой тайги.

Начался разговор; часто поминались фамилии графа Игнатъева и полковника Стесселя, имевших какое-то отношение к комитету. Присутствовал также и офицер из морской контрразведки. Он то и дело закладывал ногу за ногу, зевал от холода и, глядя на кого-нибудь, щурил темные матовые глаза. Офицеры в лакированных сапогах были с ним запанибрата и, видимо, заискивали у него.

Стали распределять места: кому быть заведующим хозяйством, кому — казначеем, кому — адъютантом, кому, словом, кем быть. Никому из нас никакого места не дали.

Наконец, поговорив о приблизительных окладах, будущие члены Комитета обороны разошлись. Большинство из них скрывались за дверью, на которой красовалось притягательное слово "буфет". Увидев, что капитан Груздев вряд ли что может сделать для нас, удалились и мы. Так прошло первое заседание Комитета обороны города Одессы.

Прибавив к деньгам, занятым у Лохана, деньги, полученные от продажи карманных часов, я купил себе на базаре сапоги: головки их были сделаны из кожи, а голенища — из сурового полотна. Эти скороходы обращали на себя еще больше внимания, чем валенки, и, кроме того, в них сильно мерзли ноги, но приобрести что-нибудь другое, более подходящее, не было никакой возможности.

Наконец получилось известие и притом вполне достоверное, что бывший комендант нашего полка, капитан Догоняев, прибыл в Одессу и назначен комендантом Пересыпского района. Мы вздохнули свободнее; если киевлянин не возьмет на службу киевлян, где же тогда справедливость?

На радостях мы решили с Опэлем выпить чаю в ближайшем трактире. Выйдя из гостиничной конторы в коридор, мы столкнулись носом к носу с комендантом поезда, который несколько дней тому назад захватил чужие чемоданы и укатил с ними вперед на другом поезде.

— Так, батенька, не годится, — обратился к коменданту Опэль, — украл чужие чемоданы и хвостом накрылись... Хорошо, что еще на других там не подумали...

И Опэль, в числе добродетелей которого имелась способность спокойно говорить все, что он думает, ухватил бывшего коменданта за рукав и прочел ему обстоятельное нравоучение. Комендант завертелся, его глаза забегали. Видимо, он не мог себе представить, что могут с ним сделать люди, которых он так оскорблял и хотел выгнать из вагона. Но все дело ограничилось лишь словесным "втиранием".

После чаю мы пошли с Опэлем отыскивать Догоняева. Жил он недалеко от "Киева". Все было так, как нам сказали; капитан действительно назначался комендантом Пересыпского района и обещал принять нас к себе на службу; кроме того, он брался также исхлопотать деньги, которые нам полагались за время службы.

Прошло еще несколько дней. Наша компания, жившая в конторе "Киева", понемногу распалась. Сперва ушли чиновники Государственной стражи, потом саперы; за ними последовали Опэль и Белибердов, переселившиеся поближе к Пересыпскому району. В гостинице остались только полковник Эмм и я. Нас переселили в освободившийся номер. По утрам мы ходили пить чай в трактир. За чаепитием мы обсуждали положение вещей. Видимо, оно не казалось полковнику устойчивым, и, говоря, он все время вздыхал, и поступать никуда не собирался, хотя благодаря большим связям в военной среде мог бы поступить куда угодно. Когда же я спросил его о фортификационных работах, Эмм только махнул рукой.

— Один балаган. Что было в Киеве, то и тут, только в больших еще размерах.

От этих слов мне стало не по себе. А Эмм продолжал после молчания:

— Все штабы, конечно, в опасную минуту убегут; кто — в Турцию, кто — в Румынию, кто — в Болгарию... Первым убежит Шиллинг — я его знаю. А остальных бросят на съедение большевикам... Попомните мое слово...

Дело с формированием Пересыпской комендатуры быстро подвиглось вперед. Помещение было уже найдено, надо было еще обзавестись мебелью, письменными принадлежностями и прочей мелочью. Население этого района относилось к добровольцам недоброжелательно. Тут жила главным образом портовая голытьба, рабочие, мелкие ремесленники.

Между тем в Одессу с каждым днем прибывало все больше и больше людей, наружность которых говорила о долгих, утомительных переходах. Это было преимущественно офицерство, уже нервное, раздраженное, одетое в изношенные шинели, обутое в стоптанные сапоги и валенки, покрытое грязью. Все прибывали усталые, голодные. Гостиницы были переполнены, и, возвращаясь вечером из трактира, я видел, как люди спали на телегах, в подъездах домов, на бульварных скамейках под открытым небом. А в это время частые и сильные дожди сменялись крепкими морозами.

Идя однажды к Опэлю, я увидел на подъезде большого красивого особняка фигуру в военном. Одна нога была обута в сапог, другая обернута во что-то такое, что напоминало мешок. Человек сидел и щелкал орехи, поставив винтовку между коленями. Когда я проходил мимо, он обратился ко мне:

— Коллега, где тут ближайшее санитарное учреждение?

Я не знал.

— Четыре часа хожу и не могу найти. Нogu надо перевязать, и нигде не только не принимают, но даже и перевязки не могу добиться.

В коротких словах история этого поручика была такова. Служил он в одном из бесчисленных отрядов особого назначения, был под Орлом, потом — отступление, повстанцы, перестрелки, ранение, отсутствие докторов и перевязочных средств; а в результате — легкая рана в ногу превратилась в тяжелую, гнойную. Его посадили в поезд и привезли в Одессу. Но и тут все госпитали были переполнены, его нигде не принимали. И, говоря, поручик часто без причины смеялся и то перескакивал с предмета на предмет, то, наоборот, останавливался не докончив фразы; а в голосе его слышались какие-то больные, надтреснутые ноты, может быть, даже и безумные. Вытертая папаха с приставшими былинками сена венчала голову с целой копной невымытых, нестриженных и нечесаных волос. Иногда, сняв папаху, он сразу запускал обе руки в дико всклокоченную шевелюру и скреб голову с остервенелым наслаждением. После головы он царапал и тер кулаками грудь, бока и, где мог достать, спину, одновременно поднимая и быстро опуская оба плеча, чтобы получить максимум

трения. Затем с жалобным стоном он принимался осторожно почесывать большую ногу.

В эти минуты он все забывал и переставал говорить.

— Вши заели. Месяца три не раздевался и не менял белья. В сентябре в реке искупался; с тех пор и не мылся как следует. Еще когда ходишь — ничего, а вот сядешь или ляжешь, да как начнешь согреваться — беда, просто нет мочи выдержать. И руками и ногами скребешься, о стену трешься — хоть бы что... Жалит, горит, спать не дает. Живьем съедят меня. Это страшнее, чем большевики да повстанцы...

Когда мы разговаривали, из-за угла показался комендантский адъютант. Одет он был с иголочки, тихо позванивал на ходу шпорами и мечтательно покуривал большую сигару.

И совершенно случайно вышло так, что, когда адъютант проходил мимо нас, поручик бросил ему под ноги ореховую скорлупу. Шпоры перестали звенеть: адъютант остановился и посмотрел на нас с брезгливой миной.

— Послушайте, поручик, как вас звать? — и рука со стеклом протянулась к моему собеседнику.

— А вам зачем?

— А затем, чтобы научить разных проходимцев, как обращаться с настоящим офицером. Ваше имя?

И в голосе адъютанта зазвучали повелительные нотки.

— Ах, вот как, — со странным спокойствием отозвался раненый. — Мое имя? Ты его, сукин сын, пойдешь у большевиков да у петлюровцев спроси...

И скомканный мешочек с орехами попал прямо в лицо офицера со стеклом; от сильного удара бумага порвалась, и орехи загремели по камням...

— Вот моя визитная карточка, — и, схватив винтовку, раненый щелкнул затвором.

Адъютант поспешил скрыться за угол. Это происшествие так взволновало раненого, что он даже перестал почесываться и погрузился в глубокую апатию. Так мы с ним и расстались.

Наконец на Пересыпской комендатуре взвился трехцветный флаг, и, глядя на него, я почувствовал, как с моей души спала большая тяжесть: все-таки у меня был свой угол.

Опэль и я были назначены писарями, остальные — кто начальником связи, кто заведующим хозяйством — словом, дело нашлось всякому. Появились и новые лица; из них сразу выдвинулся высокий худощавый блондин с длинными тонкими губами и странными, избегавшими смот-

реть на других людей, глазами. Как он попал, и в чем заключались его обязанности, никто, кажется, толком не знал. Одет он был в английскую хорошо перешитую шинель; его почти новые сапоги из прекрасного хрома служили предметом всеобщей зависти. И вышло так, что капитан Льдов взял в свои руки руководство хозяйственно-денежной частью нашей комендатуры. С собой Льдов привел знакомого чиновника и сказал, что тот займется составлением списков на получение жалования. Все были обстоятельно допрошены Льдовым, где мы служили раньше, с какого месяца, сколько уже получили, какая у кого семья и где она осталась.

Получив все эти сведения, Льдов передал их чиновнику; тот удалился в пустую полутемную комнату и сию же минуту ретиво принялся за изготовление требовательных ведомостей, пошевеливая большими усами, как сом на дне омота. Испортив до трех часов дня двенадцать листов бумаги, чиновник снял с гвоздика поношенное шерстяное кашне, обмотал им свою длинную с острым кадыком шею, надел пальто и ушел. На следующий день он явился продолжать свою работу с новыми силами. Я был чем-то вроде его помощника, но, как настоящий артист, он ревниво относился к своему искусству и меня к нему не подпускал. Я, впрочем, на этом особенно и не настаивал, приглядываясь больше к тому, что делалось вокруг.

Наша комендатура помещалась во втором этаже низкого углового дома. Вход в нее был такой извилистый, что первое время, пока не узнал дороги как следует, я часто попадал в чужие квартиры. Занимала она три светлые небольшие комнаты на улице; кроме того, была еще четвертая — мрачная, выходившая во двор, где занимались мы с чиновником и где прятались все те, кому нечего было делать. Имелась и кухня; в ней умывались и выпивали.

Комендантом был капитан Догоняев. Нраву он был покладистого, и, хотя мы и получали от него иногда небольшие замечания, зла на него никто не имел. Это был тип честного и хорошего служаки. Он не пил, не кутил и с первого же дня повел энергичную кампанию, чтобы его подчиненным были выданы недоданное жалование и пособие на обмундирование.

Функции комендатуры были настолько разносторонними и всеобъемлющими, что трудно было представить, в чем же заключается ее настоящая задача. Подчинялась она, если не ошибаюсь, Комитету обороны города Одессы.

Таких порайонных комендатур было что-то около 10 или 12. В распоряжении каждого коменданта была так называемая комендантская рота; командир этой роты являлся первым лицом после самого коменданта. Не-

большой отряд полковника Гутова, пришедший в Одессу в начале января, был переименован в комендантскую роту Пересыпского района, а сам полковник был назначен ротным командиром. Вместе с ними пришел также поручик Пыленко и бывший адъютант нашего полка. Пыленко получил пишущую машинку и звание главного машиниста, а адъютант снова стал адъютантом.

Весь их отряд, который я покинул в Ольгиополе, вполне благополучно добрался до Одессы пешим порядком, ни разу не столкнувшись с повстанцами. Вместе с тем пеше, конно и железнодорожно стали появляться и другие киевляне. Все они группировались около нашей комендатуры, как около ядра. Пришел и штабс-капитан Зворыкин, студент-политехник; он был назначен казначеем, сразу же засел за списки и повел дело так, что усатый чиновник, посмотрев на его работу, решил заходить не больше как на четверть часа в день.

Вскоре после прибытия отряда полковника Гутова мы вышли с Пыленко из комендатуры и остановились на углу. Нам хотелось есть; денег было немного, и мы раздумывали, что лучше — съесть один обед вдвоем или купить хлеба и напиток чаю. Недалеко от нас стоял полковник Гутов, поджидая трамвай. В этот момент из-за угла вывернулись дровни, нагруженные мотоциклетами. Впереди верхом ехал ротмистр Ланской, бывший в Киеве начальником команды связи нашего полка. Ланской ехал, подняв воротник шинели и глубоко втянув голову в плечи. Следом за ним у дровней шло несколько человек шоферов. К крайнему моему удивлению, на Ланском не было ни погон, ни офицерского Георгия, ни даже кокарды. Проезжая мимо полковника, Ланской отвернулся в сторону. Отвернулся и Гутов. Меня это удивило: во время дороги они очень подружились, пили вместе водку и были чуть ли не на ты. Теперешняя прохлада в их отношениях показалась мне странной, и я спросил у Пыленко, что это значит.

Оказалось, что, не доезжая Одессы, ротмистр пытался украсть у немца-колониста верховую лошадь. Немец заметил это, поймал Ланского и привел его на суд к Гутову.

— Что на этом суде было, трудно себе представить, — говорил Пыленко, — полковник на Ланского орет: ты вор, а тот на него: а ты педераст... Многие наружу вышло на этом судилище. Помните, как около Умани был пойман шофер с поросенком? Оказывается, крали-то с благословения Гутова: поросятину ему захотелось. Все это Ланской обстоятельно припомнил полковнику. Тот разозлился, давай протокол составлять, потребовал

от Ланского его документы; вот тут-то и выяснилось, что нет на свете ротмистра лейб-гвардии Гродненского гусарского полка Ланского, а есть только опереточный артистик Ланской, служивший когда-то вольноопером в этом полку и ушедший в запас без единого даже лычка. Вот какие у нас с вами начальники были...

— Но ведь все подозревали, что Ланской не ротмистр, а уж Гутов должен был бы давно заметить это.

— Не беспокойтесь, он это отлично видел, но водочка да поросятина замазывали рот. И потом — Ланской был очень осведомлен в интимных похождениях Гутова.

Наша служба заключалась главным образом в дежурствах. Работавших в канцелярии было 5-6 человек, и мы по очереди дежурили круглые сутки. Вначале это было нетрудное занятие, оставляющее много времени для разговоров со Зворыкиным; тот составлял списки, вычислял суммы, подыскивал статьи для каждой выдачи и ездил по всем одесским инстанциям, чтобы добиться открытия кредита для нашей комендатуры.

Капитан Льдов тоже проявлял много энергии. Он пропадал где-то по целым дням и, возвращаясь, заявлял, что достал что-нибудь для канцелярии или нашел место, где можно было купить сахару, крупы. По ходатайству самого коменданта фабриканты Пересыпского района подарили нашей комендатуре партию сапожной кожи. Ее оказалось довольно много, и капитан Догоняев решил, что десяти человекам из нас будет сделано по паре сапог. Сначала хотели кожу отдать на руки каждому. Но против этого восстал Льдов; он заявил, что у него есть знакомый сапожник, который делает быстро и хорошо. Против этого все протестовали, но Льдов никого не слушал и настоял на своем. Через два дня сапожник действительно явился и снял десять мерок, в том числе и с меня. Об этих сапогах речь еще будет впереди.

Были также попытки получить из какого-то интендантского склада английское обмундирование. Это дело комендант поручил Зворыкину, наиболее дипломатичному из всех нас. Не теряя времени, Зворыкин поехал в склад, захватив с собой из комендатуры четырех человек, отчасти с целью показать, как одеты защитники Одессы, а затем, чтобы помочь ему грузить вещи. В числе этих четырех находился и я. Заведовал складами тот самый офицер из морской контрразведки, которого я уже видел на первом заседании Комитета обороны города Одессы. Фамилия у него была какая-то странная — Папа-Тристуло или что-то в этом роде, теперь уже не помню. Контрразведчик посмотрел на нас,

помолчал, что-то мыкнул себе под нос и пошел в канцелярию, пригласив с собой Зворыкина.

Прошло с полчаса. Наконец двери открылись, и показался взволнованный чем-то Зворыкин.

— Едем обратно, не выгорело, — бросил он коротко, проходя мимо нас.

По дороге Зворыкин рассказал свой разговор с контрразведчиком. Оказалось, что на складе действительно имелось английское обмундирование, была и обувь. Тристуло соглашался отпустить сколько угодно комплектов, но требовал, чтобы за каждый комплект ему дали по тысяче рублей.

Возможно, что если бы комендатура имела деньги, то Тристуло получил бы взятку, а мы — одежду. Но так как дать ему было не из чего, то мы так и остались в своих порванных шинелях и стоптанной обуви.

Тогда Догоняев решил непосредственно обратиться в английскую военную миссию, находившуюся в Одессе. Был туда послан Льдов. Узнав об этом, я попросил коменданта позволить мне отправиться вместе с Льдовым. Я говорил немного по-английски, имел в английской офицерской среде хороших знакомых по плену и был уверен, что мне удастся добиться чего-нибудь от миссии в пользу служащих нашей комендатуры. Комендант согласился, но Льдов взять меня с собой наотрез отказался и отправился один. В миссии же ему сказали, что все комендатуры должны были уже раньше все получить из Комитета обороны, то есть от того самого контрразведчика, который требовал за каждый комплект по тысяче рублей. Так мы и остались в том, в чем пришли.

И в то же время были офицеры, которые имели большие деньги. Шли эти деньги на кутежи и попойки: каждый спешил использовать то, что ему так или иначе удалось добыть. Жизнь расстраивалась, личная безопасность исчезала. Французский миноносец, стоявший в порту, ночью был обстрелян ружейным огнем; обстреляли также и поезд Драгомирова, стоявший в гавани; во время этой перестрелки были убиты повар и офицер из штаба генерала. Где-то о бок с нами жила тайная, враждебная сила, но схватить ее и обезвредить не было ни умения, ни возможности.

Я продолжал жить в своем "Киеве"; придя со службы еще днем, я старался никуда не выходить под вечер; с наступлением сумерек поднималась такая стрельба и грохот от разрывов ручных гранат, что становилось жутко. Нападения на улицах, грабежи стали обычным явлением. К буйнившим добровольцам присоединялась масса всякого подозрительного элемента. Малочисленные комендантские патрули, состоявшие из голодных, оборванных, заеденных вшами людей, не могли, конечно, справиться с ошалевшими от спирта и безнаказанности хулиганами.

И спал я плохо. На грязную, без простынь кровать я не решился лечь из чувства брезгливости, а диванчик был короткий и неудобный. Спал я на полу, разостлав шинель, а сверху покрывался полушубком. Но чуть только тело начинало согреваться, как поднимался нестерпимый зуд. Это были вши; нашел я их на себе еще в первый день прибытия в Одессу. Размножались они на мне со страшной быстротой. Днем насекомые давали о себе знать как-то меньше. Но стоило только лечь и задремать, как тут-то оно и начиналось. Тысячи мелких раздражающих укусов на руках, на груди, на спине, на ногах, словом, по всему телу заставляли нещадно скрести кожу целыми часами. Я терся о стену, о металлическую спинку кровати, перекатывался, как мешок, по полу... И с каждым днем этот зуд становился все невыносимее. И выражение "быть заеденным вшами" уже не казалось мне пустым преувеличением; я чувствовал, что они действительно могли меня загрызть.

В дни дежурства приходилось спать в канцелярии. Как я уже сказал, эти дежурства в самом начале ничего особенно страшного не представляли. Электричество горело до 10 часов. Расположившись на столе, как на кровати, я скреб тело и мечтал о горячей бане, о белой мыльной пене, о чистом белье, о теплой комнате... В баню я, пожалуй, мог бы сходить. Но одна баня без смены белья и платья избавить от насекомых не могла. А нового и чистого, чтобы одеться после мойки, у меня не было. Я предпочел ждать получки денег, чтобы купить и белье, и платье.

С течением времени эти ночные мечтания о бане и о белье все чаще и чаще стали прерываться телефонными звонками. Приходилось вскакивать и вести переговоры.

Однажды ночью я был таким образом разбужен и должен был принять длинную телефонограмму, исходившую из очень важного учреждения. Кончив писать и повесив трубку, я два раза перечел поступившее распоряжение. Было оно составлено в самых решительных выражениях.

Военный судья генерал-майор Блямин, действовавший по приказу штаба обороны, в свою очередь приказал нашей комендатуре немедленно разыскать и арестовать обоз Кексгольмского полка ввиду того, что в обозе этом находится много вещей, награбленных у мирных жителей. Об исполнении этого приказа надлежало донести завтра же утром. Потом следовала подпись.

Но отыскать обоз Кексгольмского полка среди множества других обозов уже само по себе было очень трудно. В эти дни площади, улицы и постоялые дворы Одессы были запружены великим множеством разных

частей и обозов; никто из них, конечно, в комендатуру знать о себе не давал. Если бы даже и удалось найти такой обоз, то арестовать его — значило вызвать со стороны его владельцев вооруженное сопротивление. Для всего этого нужны были люди, а наша комендантская рота была и малочисленна, и утомлена сверх всякой меры, к тому же случаи тифа появлялись в ней все чаще и чаще.

Сознавая, что данная мне задача превосходит мои способности, я направился с принятой телефонограммой к нашему адъютанту за советом. Мне даже самому было интересно, как можно вывернуться из такого положения.

Но адъютант легко разрешил эту задачу. Он позвонил в роту и попросил дежурного выслать патруль из трех человек. Этот патруль должен был пройти по городу и приглядеться к обозам. В случае, если бы ему удалось найти то, что требовалось, сообщить немедленно в комендатуру. Отдав это распоряжение, адъютант сейчас же протелефонировал генералу Блямину, что к отысканию и задержанию обоза Кексгольмского полка приняты срочные меры.

Исполнил ли дежурный по роте приказание адъютанта или нет, я не знаю. Но думаю, что нет; даже днем в наряды и караулы приходилось иногда посылать людей с температурой, которые нередко падали затем на улице.

За ночь в мыслях и намерениях генерала Блямина произошла неожиданная перемена. Под утро он прислал вторую телефонограмму, приказывая отпустить обоз, буде таковой найден и арестован.

Другие мои коллеги как-то легко справлялись с подобными случаями. Но я не мог — то ли мне не хватало житейского опыта, то ли я был слишком наивен, всерьез принимая невыполнимые приказания, но только я часто ходил к адъютанту за советами.

Большое удовольствие в эти дни мне доставило появление капитана Гэ. Познакомились мы еще в Киеве, где он заведовал обозом нашего полка. До революции Гэ был богатым человеком и имел в Москве несколько домов. Рано бросив военную службу, он занялся археологией. Ездил Гэ на раскопки и в Грецию, и в Италию, и в Малую Азию. У него были обширные познания в нумизматике, и он несколько лет работал в Британском музее, подготавливая большой печатный труд. Тяжело раненный во время германской войны, он получил чистую отставку.

Быть в его обществе и вести с ним разговор мне всегда доставляло большое удовольствие. Он любил пошутить, посмеяться, но его насмеш-

ки никогда не задевали личностей. С начальником хозяйственной части, которому он был непосредственно подчинен, капитан Гэ был почитителен, но, если тот отдавал какое-нибудь трудноисполнимое распоряжение, капитан Гэ не стеснялся на это указывать. И основания, которые он приводил, всегда были так убедительны, что полковник, в конце концов, сдавался. Тонкий, благожелательный, Гэ невольно всех располагал в свою пользу. Солдаты его обоза повиновались ему не за страх, а за совесть, добровольно признавая его превосходство; в то же время он умел принять во внимание и указания своих подчиненных. За его спиной они были спокойны, что их интересы в надежных руках и что ни одна казенная копейка не будет израсходована зря. Некоторые из солдат, имевшие деньги, отдавали их ему на хранение.

— Да ведь и я не застрахован, и убить меня могут, и ограбить, — говорил Гэ.

— Ну, что же, — отвечали вкладчики, — за вами и пропадет, так не жалко.

Как-то за несколько дней до взятия Киева большевиками я пошел к Гэ отвести душу. Войдя во двор, где находились конюшни и обоз, я увидел капитана на крылечке канцелярии; он только что откуда-то пришел и счищал с сапог прилипшую грязь. Не успел я сделать двух шагов, как послышался над головой тонкий свист, в один момент превратившийся в тяжелое урчание. Все шархнулись в разные стороны. Шрапнель, поставленная на удар, с грохотом разорвалась посередине двора. Крылечко и капитан Гэ скрылись в облаке разрыва. Когда дым рассеялся, все бросились в канцелярию, думая, что Гэ убит или ранен. Но Гэ по-прежнему стоял на крылечке, только левая нога его жесткого, расхоловшегося во все стороны полшубка, как ножом, была срезана громадным осколком, пролетевшим около самой ноги.

— Слава Богу, не зацепило... Мне случалось немецкие сорокадвухсантиметровые слышать, те страшнее, — спокойно сказал он и вошел в канцелярию.

И в то время, когда у писарей тряслись руки, Гэ твердым почерком подписывал подаваемые ему бумаги. И вместе с тем никому не приходило в голову назвать его бесстрашным или храбрым. Казалось, что мужество было так же свойственно ему, как свойственно человеку иметь определенный цвет волос или глаз. И что удивительно — робких людей капитан Гэ никогда не осуждал. У них было одно отношение к опасности и смерти, у него — другое. И все-таки не эти качества привлекали к Гэ. Не знаю почему, но была большая радость знать этого человека, быть с ним в общении, повиноваться ему.

Гэ был женат. Жена его, маленькая быстрая женщина с бездонным сердцем, читала в подлиннике Горация, Платона и много помогала мужу в его работах. Когда я в первый раз пришел к ним в дом, то мне показалось, что я вижу тот редкий союз двух душ, который называется человеческим счастьем.

Вышли они из Киева самыми последними, попав в промежуток между цепями красных и белых. К счастью, ни Гэ, ни его жена не были ранены.

По словам Гэ, несколько рот нашего полка вместе с полковым командиром и начальником хозяйственной части выбрались из города вполне благополучно, захватив даже часть канцелярии. Он присоединился к этому отряду и только недавно расстался с ним, очевидно, не поладив с начальством. Но причин своего расхождения он не сообщил.

Зато многое рассказал другой офицер, с обмороженными щеками, приехавший вместе с Гэ. Оказалось, что командир полка и заведующий хозяйством захватили с собой много имущества — белья, кожи, еще чего-то и цистерну спирта; кроме того, у обоих оказались на руках громадные деньги — чуть ли не по несколько миллионов.

— Это и понятно, — повествовал рассказчик, — большому кораблю — большое и плавание; но только нам-то, маленьким лодочкам, приходилось туго. Придем, бывало, в деревню, сейчас же полковник и начхоз занимают самую лучшую хату; для них и кур бьют, и поросят режут, а водка своя уж была. Расплачивались они где деньгами, где бельем да спиртом. Нам крошки не перепало. Половину людей они в охранение вышлют, а другая по хатам разбредется — погреться да хлеба выпросить. Морозы сильные были. Пришел я одного сменять, а он уже не дышит — замерз. Еще бы! Сапоги износились, валенки стоптались, шинели стали такими, что и смотреть тошно. Полушубки же приблизительно только каждый пятый имел, и вдобавок — вши. Сколько людей ноги поотмораживало!.. Простоят ночь, и готово — идти дальше не может. Таких просто бросали. А кругом повстанцы, петлюровцы, большевики. Ходили мы к командиру, жаловались, что дальше нельзя так тянуть. Он ответил, что ничего не может сделать — деньги казенные, белье тоже, спирт тоже, это вроде как бы неприкосновенный запас. Да, стоишь на посту у белья и думаешь: "Что ж, собственно, это такое? Для кого ты его стережешь и почему столько людей из-за него погублено?". В это-то время, стоя раз ночью у цистерны, я и отморозил лицо. А потом слух прошел, что полковник-то на службе у большевиков и что ему якобы и задача была задана — погубить побольше добровольцев и самое движение уронить. Поговорили мы с Гэ и решили бросить все и в Одессу ехать... — закончил свой рассказ офицер.